

Смерть. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

Смерть. Иван Сергеевич Тургенев

У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только, – говорит, – поедете по моим мелочам, к Зуше; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лес? У меня его рубят». – «Поедте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдташ, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятилетнего Архипа, толстого и приземистого мужика с четвероугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из остзейских губерний, юношу лет девятнадцати, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готдиба фон-дер-кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение именем. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кардон-Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая, даже лежа в постеле, продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в «мелоча». «Вы меня здесь подождите на полянке», – промолвил Ардалион Михайлыч (мой сосед), обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик; Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардалион Михайлыч объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты: я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил кишу в карман и сел, не без труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения; Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул наконец с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали.

Лес Ардалиона Михайлыча с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером m-r Desire Fleury, добрейшим человеком (который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа), часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь двух- или трехсот огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волнянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника... А что за тень в лесу была! В самый жар, в полдень – ночь настоящая: тишина, запах, свежесть... Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей – дубов и ясеней; засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая «сменила их, не заменив». [1] Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные наконец вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле. Кто бы мог это предвидеть – тени, в Чаплыгине тени нигде нельзя было найти! Что, думал я, глядя на умирающие деревья: чай, стыдно и горько вам?.. Вспомнился мне Кольцов:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Где ж теперь твоя

Мочь зеленая?..

– Как же это, Ардалион Михайлыч, – начал я, – отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут.

Он только плечами пожал.

– Спросили бы тетушку, – а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

– Mein Gott! Mein Gott! – восклицал на каждом шагу фон-дер-Кок. – Што са шалость! што са шалость!

– Какая шалость? – с улыбкой заметил мой сосед.

– То ист как шалко, я спасать хотелл. (Известно, что все немцы, одолевшие наконец нашу букву «люди», удивительно на нее напирают.)

Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы – и действительно: иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал.

Мы пробирались на место рубки, как вдруг, вслед за шумом упавшего дерева, раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный.

– Что такое? куда ты бежишь? – спросил его Ардалион Михайлыч.

Он тотчас остановился.

– Ах батюшка, Ардалион Михайлыч, беда! Что такое?

– Максима, батюшка, деревом пришибло.

– Каким это образом?.. Подрядчика Максима?

– Подрядчика, батюшка. Стали мы яшень рубить, а он стоит да смотрит... Стоял, стоял, да и пойдит за водой к колодцу: слышь, пить захотелось. Как вдруг яшень затрещит да прямо на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги... Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побегит... заробел, знать. Яшень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился, – Господь его знает... Разве сердцевина гнила была.

– Ну, и убило Максима?

– Убило, батюшка.

– До смерти?

– Нет, батюшка, еще жив, – да что: ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем.

Ардалион Михайлыч приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на осечки... Я за ним.

Мы нашли бедного Максима на земле. Человек десять мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы... Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайлыча.

– Батюшка, – заговорил он едва внятно, – за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил.

Он помолчал. Дыханье ему спирало.

Смерть. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru

– Да деньги мои... жене... жене дайте... за вычетом... вот Онисим знает... кому я... что должен...

– Мы за лекарем послали, Максим, – заговорил мой сосед, – может быть, ты еще и не умрешь.

Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.

– Нет, умру. Вот... вот подступает, вот она, вот... Простите мне, ребята, коли в чем...

– Бог тебя простит, Максим Андреич, – глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли, – прости ты нас.

Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустил опять.

– Нельзя же ему, однако, тут умирать, – воскликнул Ардалион Михайлыч, – ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесемте его в больницу.

Человека два бросились к телеге.

– Я у Ефима... сычовского... – залепетал умирающий, – лошадь вчера купил... задаток дал... так лошадь-то моя... жене ее... тоже...

Стали его класть на рогожку... Он затрепетал весь, как застреленная птица, выпрямился.

– Умер, – пробормотали мужики.

Мы молча сели на лошадей и отъехали.

Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто.

Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в овине обгорел. (Он так бы и остался в овине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил: окунул в кадку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом.) Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю: где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», – отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу – лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжело. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи... Ну, что? как?» – «Вестимо, плохо», – говорит. «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» – «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса – гробовое молчание в избе. В углу, за столом под образами, прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозит на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают: братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» – проговорил наконец больной. «Чего?» – «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом: «Причастили его?» – «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке: ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел...

А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья, к знакомому мне фельдшеру Капитану, страстному охотнику.

Больница эта состояла из бывшего господского флигеля; устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами: «Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки:

Dans ces beaux lieux, ou regne l'allegresse,
Ce temple fut ouvert par la beaute;
De vos seigneurs admirez la tendresse,
Vons habitants de Krasnogorie! –[2]
а другой господин внизу приписал:

Et moi aussi J'aime ia nature!

Jean Kobyljatnikoff». [3]

Фельдшер купил на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народ Божий. Кроме его, при больнице состояло два человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба готовили лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова; по ночам пел песню «о прекрасной Венере» и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба была его и заставляла стеречь индюшек. Вот, сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадей, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке, с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич, – закричал из окна Капитон, – милости просим... Лыбовшинский мельник», – шепнул он мне. Мужик, побряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерovu комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького?.. Да вы, должно быть, нездоровы: лицо у вас нехорошо». – «Да, Капитан Тимофеич, неладно что-то». – «Что с вами?» – «Да вот что, Капитон Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова; ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать, понатужился, знать, что ли, в череве-то у меня так екнуло, словно оборвалось что... да вот с тех пор все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно». – «Гм, – промолвил Капитон и понюхал табаку, – значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» – «Да десятый денек пошел». – «Десятый? (Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал.) Позволь-ка себя пощупать. Ну, Василий Дмитрич, – проговорил он наконец, – жаль мне тебя, сердечного, а ведь дело-то твое неладно; ты болен не на шутку; оставайся-ка здесь у меня; я с своей стороны все старание приложу, а впрочем, ни за что не ручаюсь». – «Будто так худо?» – пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитрич, худо; пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше – и ничего бы, как рукой бы снял; а теперь у вас воспаление, вон что; того и гляди, антонов огонь сделается». – «Да быть не может, Капитон Тимофеич». – «Уж я вам говорю». – «Да как же это! (Фельдшер плечами пожал.) И умирать мне из-за этойкой дряни?» – «Этого я не говорю... а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» – «Куда? вестимо куда – домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так». – «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитрич, помилуйте; я и так удивляюсь, как вы доехали? останьтесь». – «Нет, брат Капитон Тимофеич, уж умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру, – у меня дома и Господь знает что приключится». – «Еще неизвестно, Василий Дмитрич, как дело-то пойдет... Конечно, опасно, очень опасно, спору нет... да оттого-то и следует вам остаться». (Мужик головой покачал.) «Нет, Капитон Тимофеич, не останусь... а лекарствицу разве пропишите». – «Лекарство одно не поможет». – «Не останусь, говорят», – «Ну, как хочешь... чур, потом не пенять!»

Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал Капитону полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеич, не поминайте лихом да сироток не забывайте, коли что...» – «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадей и со восторженными раскланивался... На четвертый день он умер.

Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек! Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова, учил его детей Фофу и Зезю русской грамоте, географии и истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделавшись наконец от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какую искреннюю любовь к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать

Смерть. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru

правду: не отличался ты излишним остроумием; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием; в университете считался ты одним из самых плохих студентов; на лекциях ты спал, на экзаменах – молчал торжественно; но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира... Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих, кто перевозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия, кто бескорыстно жертвовал собою, кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?.. Все ты, все ты, наш добрый Авенир! Помню: с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на «кондицию»; злые предчувствия тебя мучили... И точно: в Деревне плохо тебе пришлось; в деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить... И степняки, и образованные помещики обходились с тобою как с учителем одни – грубо, другие – небрежно. Притом же ты и фигурой не брал; робел, краснел, потел, заикался... Даже здоровья твоего не поправил сельский воздух: истаял ты, как свечка, бедняк! Правда: комнатка твоя выходила в сад; черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки; на стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками; иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами: но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная... Бедный, бедный Авенир!

Я посетил Сорокоумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалованье перестал ему выдавать и другого учителя нанял Зезе... Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурою грядой обнаженных лип; кое-где шевелились и лепетали на них последние, ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце; его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве; в воздухе чудился легкий треск; ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат; зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему... На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных; он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт», – пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом:

Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Все заказаны?

Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не «следил» за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы? Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать: слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле (дела давно минувших дней, как видите). Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю!.. а! хорошо, хорошо!..» Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни... и что ж? – он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение...

Собравшись с силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе; вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей...

– Помнишь Дашу? – прибавил он наконец, – вот золотая была душа! вот было сердце! И как она меня любила!.. Что с ней теперь? Чай, иссохла, исчахла, бедняжка?

Я не посмел разочаровать больного – и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами – братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бранится.

Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить

Смерть. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить... Но Авенир не дал мне
докончить мое предложение.

– Нет, брат, спасибо, – промолвил он, – все равно где умереть. Я ведь до зимы не
доживу... К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда,
Господа-то здешние...

– Злые, что ли? – подхватил я.

– Нет, не злые: деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них пожаловаться.
Соседи есть: у помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая
девица... не гордая...

Сорокоумов опять раскашлялся.

– Все бы ничего, – продолжал он, отдохнувши, – кабы трубочку выкурить позволили...
А уж я так не умру, выкурю трубочку! – прибавил он, лукаво подмигнув глазом. –
Слава Богу, пожил довольно; с хорошими людьми знался...

– Да ты бы хоть к родным написал, – перебил я его.

– Что к родным писать? Помочь – они мне не помогут; умру – узнают. Да что об
этом говорить... Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел?

Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через
десять получил следующее письмо от Г. Крупяникова:

«Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня
в доме проживавший студент, Г. Авенир Сорокоумов, четвертого дня в два часа
полудни скончался и сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен.
Просил он меня переслать к вам приложенные при сем книги и тетради. Денег у него
оказалось 22 рубля с полтиной, которые, вместе с прочими его вещами, доставятся
по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и,
можно сказать, с таковою же бесчувственностью, не изъявляя никаких знаков
сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра
Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на
ее нервы; что же до меня касается, то я, слава Богу, здоров и честь имею пребыть

Вашим покорнейшим слугою.

Г. Крупяников».

Много других еще примеров в голову приходит, – да всего не перескажешь.
Ограничусь одним.

Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да
вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест.
Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка, – проговорила
она коснеющим языком, – успеешь...» Она приложилась, засунула было руку под
подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал целковый: она хотела
заплатить священнику за свою собственную отходную...

Да, удивительно умирают русские люди!

1 В 40-м году, при жесточайших морозах, до самого конца декабря не выпало снегу;
зеленя все вымерзли, и много прекрасных дубовых лесов погубила эта безжалостная
зима. Заменить их трудно: производительная сила земли видимо скудеет; на
«заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных
деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить рощи у нас не
умеют.

2 В прекрасных местах, где царствует веселье,
Сама красота воздвигла этот храм;
Восхищаясь щедростью ваших господ,
Добрые обитатели Красногорья! (франц.)

3 И я тоже люблю природу!
Иван Кобылятников (франц.)

Смерть. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!